

Ф. М. Достоевский

«СВИСТОК» И «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

Я сейчас говорил о чистосердечии. Я совершенно уверен, что статья «Русского вестника», в первом номере за нынешний год: «Несколько слов вместо современной летописи» — вполне чистосердечна; тем не менее она произвела на меня чрезвычайно странное впечатление; какая-то в ней раздражительность, можно даже сказать, какая-то страстность, конечно происходящая от благородного негодования, но вместе с тем и вредящая делу. <...> Но читатель увидит это сам: мы вместе с ним прочтем эту статью. Будем же продолжать это чтение.

«Итак, натура взяла свое,— говорит статья,— брань возвратилась, только уже не литературная, сброшенную маску литературных объяснений поднять было совестно, и раздались объяснения более откровенные, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов (тут сделана выноска. «Современник», № 1. Мы так и ожидали, что «Современник»). Не служит ли это также некоторым доказательством, что время наше есть время не совсем литературное?»

Печальное явление, истинно печальное явление. Но вот что надо заметить: эти балаганы с песнями и с свистунами, с визгом и проч. напрасно упомянуты негодующим журналом во множественном числе. «Свисток» в строгом, так сказать, в официальном смысле, у нас один — это в «Современнике». Если «Русский вестник» не употребляет здесь известной риторической фигуры умножения: наши Пушкины, наши Лермонтовы, наши свистки и проч., то я беру на себя смелость заметить ему, что уж одним этим умножением он придает этому досадному «Свистку» слишком уж большое значение. Не смею решать (я слишком молод), но мне кажется, что такой серьезный, такой деловой журнал, как «Русский вестник», мог бы даже не обращать ни малейшего внимания на этот «Свисток»; а вместо того, у «Русского вестника» даже двойится в глазах от негодования (конечно, благородного). Он уже видит «Свисток» везде; «Свисток» умножается в глазах его; обращается в целые балаганы. Мало того, почтенный журнал даже меряет всю нашу литературу по «Свистку» и заключает, по «Свистку» же, что наше время «есть время не совсем литературное». Если уж высказывать свое мнение, то, по-моему, наше время именно литературное; «Свисток» же ни мало не служит доказательством его нелитературности. Но продолжаем следить за статьей.

Статья говорит, что до сих пор «Русский вестник», следуя характеру времени, воздерживал себя от интересов и вопросов, которые имеют характер более общий и теоретический и которым не благоприятствовали время и требования общества. Наступило ли теперь другое время, появились ли новые задачи, чувствуется ли в обществе потребность других интересов, кроме чисто практических, сопряженных с трудом гражданского строения и преобразования,— «Русский вестник» решить не берется; но, однако ж, думает, что до некоторой степени существует эта потребность... а затем и объявляет, что вследствие этой потребности и открывает у себя новый отдел критики и библиографии.

Я этому очень рад. Правда, в последние годы нам как будто было не до литературы. Всё у нас как будто зашевелилось, как будто куда-то собиралось. Мы как будто вдруг открыли Америку. Ожиданий, надежд была бездна. Но мало-помалу мы не то чтоб успокоились, не то чтоб и разочаровались, а так, перестали ожидать чего-то немедленного. Нам даже вдруг показалось, что под нами как будто нет почвы, нет и указчика в смысле

центростремительной силы; что мы не согласились в чем-то, не умеем еще чего-то, одним словом, обвиняли сами себя и отчасти напрасно, потому что, по-моему, всё происходило оттого, что мы — *дилетанты*. В самом деле, у нас, например, есть потребности, мы хоть и толкуем об них, но как-то не так, как в других местах, где толк тотчас же прилагается к делу, а следственно, каждый толкующий заинтересован так, как только можно быть заинтересованным в своем собственном деле. Мы же хоть и с теми же потребностями, но принуждены были толковать об них отвлеченно, в виде искусства для искусства, упражнялись в диалектике, говорили о высоком и прекрасном... и только. Правда, мы в это время учились; вот, например, «Русский вестник»: он нас учил неутомимо; он толковал и о судах, и о присяжных, и о тюрьмах, и об общине, и о полиции; даже приятно было слушать со стороны. Но всё тем и кончилось, что мы слушали со стороны. Ваши споры, задоры, ваша диалектика, ваша полемика оставались для нас одной книгой, а потому и отзывались чем-то книжным, а не живым. Как будто и под вами не было настоящей почвы, как будто и вы в настоящую жизнь не вошли. И всё более и более от вас веяло таким ораторством, пальмерстонством, кавурством... У вас, например, был хороший отдел политики, а в сущности, для чего нам политика? так, хорошенькая игрушка. Я читал статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием; с удовольствием даже читал я и об тротуарах, посыпаемых песком в июле месяце по приказанию полицейского служителя. Очень умно было написано; но если б умному человеку, написавшему эту обличительную статейку, было что делать, он бы не распространил ее на столько страниц, что было довольно смешно. Я и вывел из этого заключение, что если у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность. Мало того, еще так недавно, с небольшим десятилетием, литературная деятельность была для нас так полезна, что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколение, немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались всё больше и больше... Это было в последнее время деятельности Белинского. Одним словом, литература входила органически в жизнь. Вот почему мне кажется, что литературная критически-синтетическая, если можно так выразиться, деятельность наших представителей литературы приятна бы была нам и теперь. Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья... Мы даже видим, что нам еще много надо бы сделать в этом смысле и что многое в этом смысле еще не сделано. Вот почему я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее и с обоих концов: с нас и с тех, которые недавно милосердой волей получили такое огромное расширение своих прав гражданства. Мне даже кажется, что без нравственного очищения, без внутреннего развития,— никакие специальности, ни Пальмерстоны, ни Громеки, ни даже обличители посыпанья песком, не войдут настоящим образом в наше сознание; конечно, и они тоже способствуют нравственному развитию, даже очень; но вместе с этим не мешают и чего-нибудь посинтетичнее, даже очень бы не мешало. Жаль, что не умею я выразиться. Мне даже кажется, что теперь даже так называемая изящная литература, какой-нибудь, например, Пушкин, Островский, Тургенев всё еще полезнее для нас даже самых лучших политических отделов и *premiers-Moscou*¹ наших журналов. (Батюшки! что это я такое сказал! Но — слово не воробей: вылетело, не воротишь). Я потому, впрочем, это думал, что всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накапливаются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово,— слово великое дело! А к сформированному погуманнее человеку получше привьются и всякие специальности. Человек-то этот еще не совсем сформирован у нас — вот беда! Специальности-то хоть и понимаются нами, да как-то не прививаются еще к нам. Конечно, специальности и теперь необходимы. Это наука. Необходимы, необходимы! —

Это одно из самых первых дел. Но и то хорошо и это хорошо. Всё бы вместе, в стройном согласии — самое лучшее. По крайней мере, в одной только литературе мы еще как будто не дилетанты. Конечно, литература и все ее впечатления далеко не составляют всего, но она способствует к составлению всего. Правда, тогда был Белинский, а теперь человека-то такого симпатичного нет. Безделица! А новый-то человек нам бы, наверно, сказал что-нибудь новое, успокоительное. Разве подождать, что скажет «Русский вестник». Но «Русский вестник» еще не начал нового отдела, а уж

¹ передовиц московских (*франц.*).

начинает говорить странные вещи. Вот это-то меня и озадачивает, даже как будто разочаровывает. Он заговорил было о том, какой характер будет иметь их новый отдел, и тотчас же опять свернул на «Современник» и на «Свисток» его; даже подумаешь, пожалуй, что «Русский вестник» и заводит-то у себя новый отдел не для чего иного, как в пику «Современнику» и «Свистку» его, — мысль нелепая и которой, по-настоящему, я бы должен был стыдиться. Я, впрочем, и стыжусь ее и всеми силами стараюсь не верить ей. Впрочем, об «Современнике» говорится в «статье» то, что об нем теперь все говорят; но порыв, но страстность статьи поражают неволью:

«Только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература,— говорит статья,— роется в собственных дрызгах, не видя перед собой божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».

Сильно сказано, но верно. Согласитесь сами. И далее:

«Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедовалась теория, лишаящая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право национального поэта... и т. д., и т. д.».

И далее:

«Книжки этих журналов, где требовалось от литературы полнейшее самоотречение, где во имя дела и практических интересов уничтожалось все, без разбора и смысла, книжки этих журналов наполовину наполнялись самыми бездельными литературными рассуждениями и сплетнями, бескорыстными или корыстными упражнениями *в искусстве для искусства*. Ни одна литература в мире не представляет такого изобилия литературных скандалов, как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык. Очевидно, что такого рода занятие литературой не есть признак чего-либо доброго, выражение какой-либо силы, а, напротив, признак бессилия и выражение ничтожества».

Мне кажется, что «Русский вестник» судит уж слишком под влиянием гнева и даже как-то безотрадно. Это жаль. Мне кажется, что уж слишком большую долю дают этим скандалам в развитии русской литературы. Право, так. Мне кажется даже, что наши литературные скандалы происходят только отчасти от бессилия и ничтожества, и я всё еще держусь мысли, что они происходят от тузов и столпов нашей литературы, именно от тех, которые кричат против них. И тому есть причины; я их изложу ниже. Но отчасти и потому, кажется, они происходят, что иным делать больше нечего. Младая кровь играет.

Беспокойство, потребности жизни, потребности чего-то, потребности хоть как-нибудь пошевелиться,— вот и скандальчики. Оно хоть и скверно, но все-таки это не признаки какого-нибудь бессилия и ничтожества. А вот та часть скандалов, и самая огромная, которая остается на совести тузов и столпов литературных, вот эта может быть признаком их бессилия и ничтожества, хотя между этими столпами есть чрезвычайно много не ничтожных людей, а, напротив, очень умных, которые могли бы быть очень полезны. Но какое-то самолюбие поедает их. Всё это распалось на кружки, на приходы. Всё это готово считать, как мы уже сказали где-то, свою домашнюю стирку за интересы всего человечества. Каждый считает себя исходным пунктом, спасением, всеобщей надеждой. Каждый лезет в триумфаторы. Умных людей много, да и роль их пришла: все к ним обращаются; все от них ждут и разрешений и указаний, на них надежда; а они как догадались, что пришло их время, то есть догадались, что они указатели и стали потребностью общества, тотчас же и свихнулись с дороги. Проповедовали прежде гуманность и все добродетели, а чуть-чуть дело коснулось до них практически, они и передрались: куда девались все совершенства! Я и рад действовать, говорит иной столп, но с условием, чтобы меня считали центром, около которого вертится вся вселенная. Потребность олимпийства, пальмерстонства заедает наших литературных кащиков до комического, до карикатуры. Один даже и с талантом писатель вдруг среди бела дня сходит с ума и кричит на вора караул:

Украли пук моих стихов!

Другой, бесспорно умнейший человек, встречается с другим литератором и долго колеблется, что ему протянуть: палец или два пальца, чтоб, дескать, не счел меня тот как-нибудь своей ровней; пожалуй, сдуру-то и сочтет. Третьего освистали, кончено дело! Значит, всё падает, всё разрушается, светопреставление наступает — меня освистали! <...> ... мне кажется, по молодости моих лет разумеется, что всё это разъединение, а за ним и скандалы происходят у нас отчасти и оттого, что уж слишком много развелось одинаково умных людей; будь над ними один, самый умный, они бы, может быть, как-нибудь и подчинились ему, и всё бы пошло хорошо. Но шутки в сторону: человека нет — это главное, центра нет, горячей, искренней души нет, новой мысли нет, а главное — человека, человека прежде всего! Есть книжки, есть правила о гуманности, есть расписание всех добродетелей, есть много умных людей, наследовавших гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении,— вот что есть. Но этого мало. С такой обстановкой, даже на лучшем пути, придется, пожалуй, самих себя обвинять, а не то, что дороги плохи.

Всё это я наговорил теперь только так, для упражнения в слоге и красноречии; но, разумеется, все это несколько не касается «Русского вестника». Напротив, мы многого ждем от него. Мне вот только кажется, что он немного увлекся, говоря выше о русской литературе и даже побранив ее за то, что она «маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык»,— «Русский вестник» был, очевидно, рассержен, хотелось хоть на ком-нибудь сердце сорвать; подвернулась литература — вот ей и досталось: не подвертывайся. Мне кажется тоже, что литература наша, хоть и новая, хоть и недавняя, но вовсе уж не такая мизерная. Она совсем не скудная: у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский, и это уже литература. Преемственность мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Кроме этих писателей, есть много и прежних и новых, которых не отвергла бы любая европейская литература. И неужели явление Пушкина выработало нам один только язык? Неужели ж «Русский вестник» не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения

русского духа и русского смысла? Литература без науки, говорите вы; но зато с сознанием, говорю я, и это сознание, хоть и молодое, хоть и не установившееся, но широко начавшееся и уже благонадежное. У нас уже давно сказано свое русское слово. Блажен тот, кто умеет прочесть его. За что же вы хвалите Пушкина, за что же вы сами говорите выше, что он национальный поэт, когда признаете за ним только одну выработку языка? Уж не для того ли вы и похвалили Пушкина, чтоб сказать что-нибудь в пику «Современнику»? Не верю этому подозренью! Постыдная мысль, оставь меня! Просто-запросто вы разгорячились; я подожду, когда вы будете хладнокровнее.

Но увы, к ужасу моему, «Русский вестник» не становится хладнокровнее, напротив, всё раздражительнее и раздражительнее, и, что всего досаднее, всему причиною опять тот же «Свисток». Досадный «Свисток»! и сколько еще он вперед наделает у нас бед? Да вот судите сами. Только что «Русский вестник» разговорился о том, как мало бывают действительны принудительные сближения племенных особенностей, как, напротив, легко и успешно совершается это дело свободным развитием нравственных сил; только что он заговорил было, для примера, о печальном положении славянских племен и их наречий и для контраста— о приятном положении немецких племен и их языка, он вдруг заключает:

«В славянском же мире, забытом или подавленном историей, до сих пор еще ни одно из племенных начал его не достигло бесспорного могущества, не возоблададо даже над ближайшими элементами. Россия представляет, бесспорно, великое государственное могущество, страшную громаду, занимающую неизмеримые пространства Европы и Азии, но что такое русская народность? Что такое русская литература, русское искусство, русская мысль? Выгодно ли будет для России, чтобы русская народность и русское слово оставалось позади всякой другой народности и всякого другого слова в Европе? Хорошо ли будет для России, чтобы мы оставались вечными мальчишками-свистунами, способными только на мелкие дела, на маленькие сплетни и скандалы?»

Господи боже! — восклицаю я, — да неужели ж «Свисток» имеет такое всенародное значение в русской жизни и в русской будущности? От таких великих вопросов переходить прямо к «Свистку» и находить в нем только завязку и развязку всех русских недоумений! Да неужели ж вся Россия, все русское общество обратилось в свисток? Разумеется, невыгодно оставаться позади всех, но Россия, я уверен, мы все в этом уверены, вовсе не считает выгоднее обратить все свое население в свистунов, и совершенно напрасно вы задаете всему русскому обществу такой вопрос. Оно, может быть, и не слыхало, что такое «Свисток». Да этот «Свисток» вам просто не дает покою; спать не дает; вы всюду его видите, всюду встречаете, из-за него ничего не замечаете. После этого понятны и ваши предыдущие вопросы. Я оставляю в покое ваше предположение, что Россия не возвысилась еще ни над одной славянской народностью; но вопрос ваш: «Что такое русская народность?» — нельзя не поднять. Странно, что вы ее не замечаете. Конечно, сидя в кабинете, трудно что-нибудь заметить, даже и при великой учености. Надобно, чтоб обстоятельства заставили нас пожить вместе с народом и хоть на время, непосредственно, практически, а не свысока, не в идее только разделить с ним его интересы, тогда, может быть, мы и узнаем народ и его характер, и что в нем кроется, и к чему он способен, и какие его желания, осмысленные им и еще неосмысленные, и узнав народ, может быть, и поймем его народность, и что она обещает, и что из этих обещаний *непрерывно* разовьется и исполнится. Русский народ трудно узнать, не принадлежа к нему непосредственно и не пожив с ним его жизнью. А когда поживете с ним, то его характер напечатлется в вашей душе так сильно, так ощутительно для вас, что вы уже потом не

разуверитесь в нем. Русский народ отстал от высшего своего сословия, раздвоился с ним еще со времен реформы. С тех пор тяжелые обстоятельства, уничтожающиеся всё более и более в наше время, еще более усилили это разъединение. И потому к народу заглянуть трудно. Он и говорит с нами, он и служит нам, он и всегда около нас, но мы его не знаем. Но неужели ж вас не поражали по крайней мере факты: одинаковость языка в огромной полосе России, одинаковость привычек, обычаев, умозаключений, правил, надежд и умственного развития? Посмотрите, как он одинаков даже в своих уклонениях, в своих таинственных и иногда уродливых уклонениях мысли и попыток сознания, но всегда сильных и глубоких в своем основании. Нет, в нем таится мысль, и великая мысль, и, может быть, скоро выразится. Не понимаю, что вы разумели под вашим вопросом: что такое русская народность? Не то ли, что она до сих пор не заявила себя вполне? Так ведь в этом она не виновата. Она заявила только в истории свою необъятную силу отпора и самосохранения; ведь и этого уже очень довольно, взяв в соображение все бывшие неблагоприятные обстоятельства, и если далеко еще не развилась, то сомневаться в ней уж никак нельзя. По крайней мере, наверно можно сказать, что «Свисток» не будет иметь на нее никакого влияния и бояться нечего. Вы спрашиваете: где русская наука? Про науку я скажу только то, что, по моему убеждению, наука создается и развивается только в практической жизни, то есть рядом с практическими интересами, а не среди отвлеченного дилетантизма и отчуждения от народного начала. Вот почему у нас и не было до сих пор русской науки. В этом вы правы. Но, спрашивая: «что такое русская литература, русское искусство, русская мысль?», — решительно неправы. Русская мысль уже во многом заявила себя. Надобно получше глядеть, непосредственнее принимать факты, поменьше отвлеченности, кабинетности, не принимать своих частных интересов за общественные, и тогда можно многое разглядеть. Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе, и так плодотворно, так сильно, что трудно бы, кажется, не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: «что такое русская литература?» Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всечеловечности, всеотклика. Он усваивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает ее в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира. Подражатель, скажут нам, отсутствие собственной мысли. Но ведь так не подражают. Он является везде *en maître*;¹ так подражать, значит творить самому, не подражать, а продолжать. Неужели такое явление кажется вам несамостоятельным, ничтожным, ничем? В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность всепонимания, такое свидетельство о всечеловечности и, главное, в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть, главнейшая особенность *русской мысли*; она есть и в других народностях, но в высочайшей степени выражается только в русской, и в Пушкине она выразилась слишком законченно, слишком цельно, чтоб ей не поверить. (Я уже не говорю про то, что был Пушкин собственно для нас, собственно для выражения нашей русской национальной поэзии? Неужели ж вы сходитесь с странными мнениями г-на Дудышкина и его чудовищных последователей

¹ властелином (*франц.*).

в «СПб. ведомостях» № 61, 1861 года?) С Пушкина мысль идет, развиваясь всё более и шире. Неужели такие явления, как Островский, ничего для вас не выражают в русском духе и в русской мысли? Неужели ж потому только, что где-то свищут, вы уж так во всем отчаялись! О пагубное влияние «Свистка»! Да пусть его свищет. Послушайте, «Русский

вестник», между нами, под секретом, ведь иногда свист и полезен, ей богу! Неужели ж, по крайней мере у вас, ни одной надежды не осталось? Проклятый «Свисток»!

Нет! мы ошиблись! есть надежды. И мы с жадностью читаем дальше:

«При благоприятных условиях русскому языку могла бы быть суждена великая будущность в славянском мире; он мог бы стать бесспорно центром единения его разрозненных племен. И, по-видимому, история готовила наш язык к этому назначению».

Ну, слава богу! Уж по крайней мере теперь наверно можно сказать, что уж тут «Свисток» не помешает: «Свисток»! крошечный отдел в «Современнике», изредка появляющийся, да еще помешает такому великому факту «великой будущности русского языка в славянском мире»!

Затем «Русский вестник» излагает слегка, из каких стихий сложился теперешний русский язык, и восклицает:

«Когда же этот русский язык, слагавшийся так долго и так трудно, как бы предназначенный к чему-то великому и всемирному, когда же окажется он в своей литературе достойным этого предназначения? Когда этот тысячелетний ребенок будет признан человеком совершеннолетним, способным к самостоятельной жизни и мысли? Когда перестанет этот язык чувствовать себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и не способного ни к чему, кроме свиста и визга?»

Что такое! глазам не верю! Опять «Свисток» помешал; такой великой будущности России и русского языка мешают — и кто же? — «Свисток»!

Не верю; перечитываю еще раз, два, три, и недоумение, даже ужас овладевают мною. Уж не случилось ли чего-нибудь с «Русским вестником»?

Как же можно весь русский язык, то есть всю русскую литературу, приравнять к одному «Свистку»? Да неужели ж она в самом деле, без шуток, заключается только в одном «Свистке»? Неужели и всё прошедшее ее был до сих пор только один «Свисток»? Читайте, сказано прямо: что *весь русский язык, весь (весь!) чувствует себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и неспособного ни к чему, кроме свиста и визга?* Да в прошедшем-то! — кричу я, — в прошедшем-то он по крайней мере доказал, что *хоть к чему-нибудь* был способен, кроме свиста и визга! Как же можно еще сомневаться в нем, если даже согласиться с вами, что в настоящей, в современной литературе, кроме свиста и визга, нет ничего и не может быть ничего?

«Станет ли он действовать орудием зрелой мысли и знания, — продолжает «Русский вестник», — живым выражением великих интересов гражданственности, окажется ли в нем действительно всемирная, связующая и созидательная сила? Будет ли он готов к жизненной пробе, которая наступит рано или поздно, и не застанет ли она его врасплох? История не ждет, время не задерживает своего хода...»

Грозные и торжественные слова. Да неужели ж всё это по поводу «Свистка»? Неужели ж «Свисток» до того поразил «Русский вестник», что он и в будущем видит одни только ужасы для всего и для всех, и всё оттого, что в «Современнике» есть маленький отдельчик — «Свисток»? Да бог с ним, с «Свистком»? Какое дело до него русской литературе? Вот уж подлинно-то сами поражены, раздражены да и думаете, что уж всё погибает, всё рушится, светопреставление, и всё от существования «Свистка»!

Несчастный, безнравственный «Свисток»! несчастный уже одними своими пороками! к тебе обращаюсь я: заруби себе на нос, что время не ждет; наступит жизненная проба, застанет тебя врасплох, за ней нагрянет история, а уж эта и подавно не ждет,— ну что ты скажешь тогда в свое оправдание? Ведь вся Россия через тебя может не получить своего развития,— понимаешь ли ты это? Ведь это у тебя останется на совести. И не стыдно тебе после этого!

Взгляни, что сделал ты с «Русским вестником»!

Но «Русский вестник» ополчается и хорошо делает; между прочим, он говорит в заключение:

«Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести».

И хорошо, очень хорошо! Одного бы только желалось, чтоб прошло всё это раздражение. Я уверен, что в «Русском вестнике» не может быть бесполезного и совершенно неудавшегося отдела. В новом отделе своем он скажет нам что-нибудь новое и полезное. Но раздражение, раздражение! Вот, например, выше: «воры, воришки...» — можно бы и помягче. А впрочем, во всяком случае, статья совершенно чистосердечная.